

Александр Степанович Грин

Крысолов



Александр Грин

Крысолов

«Public Domain»

1924

Грин А. С.

Крысолов / А. С. Грин — «Public Domain», 1924

«Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, – дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени наверное будет спрашивать в редакциях – я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был Сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу потому, что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг – последнее, что у меня было...»

Содержание

I	5
II	7
III	8
IV	9
V	12
VI	14
VII	19
VIII	24
IX	25
X	27

Александр Грин

Крысолов

*На лоне вод стоит Шильон,
Там, в подземельи, семь колонн
Покрывают мрачным мохом лет...*

I

Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, – дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пылливый читатель нашего времени наверное будет спрашивать в редакциях – я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был Сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу потому, что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг – последнее, что у меня было.

Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло. Я бродил более двух часов, встретив только трех человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги, но и те нашли цену пяти фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем, начинало темнеть, – обстоятельство менее всего благоприятное для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене.

Справа от меня стояла старуха в бурнуса и старой черной шляпе с стеклярусом. Механически трясая головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я, – книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка – не в пример тем обрезанным по колено вертлявым юбочкам, какие стали носить тогда даже старухи, – ее суконный жакет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих, – без улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как покрхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумясь чему-то и суя в рот «семечки», – все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее.

Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: «Так же, как и у вас».

Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой, затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее «Дон-Кихота»; и тогда она несколько оживилась.

– Никто не знает, что я ношу продавать книги, – сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную меж другими осмотрительным гражданином, и рассеянно ею помахая, – то есть, я не краду их, но беру с полка, когда отец спит. Мать умирала... мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба, и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава богу, их много. И у вас много?

– Н-нет, – сказал я сквозь дрожь (уже тогда я был простужен и немного хрипел), – не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть.

Она взглянула на меня с наивным вниманием, – так, набившись в избу, смотрят деревенские ребятишки на распивающего чай проезжего чиновника, – и, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц, я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.

– Вы простудитесь, – сказала она, машинально заципывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. – Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин.

Она взяла книги подмышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какое бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.

– Телячьи нежности, – сказала, проходя мимо, грузная баба.

– Ну вот. – Девушка критически посмотрела на свою работу и хмыкнула.

– Все. Идите гулять.

Я рассмеялся и удивился. Не много я встречал такой простоты. Мы ей или не верим или ее не видим; видим же, увы, только когда нам плохо.

Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя.

– Сказать недолго, – ответила она, с жалостью смотря на меня, – только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон; может быть, я попрошу вас продать книги.

Я записал, с улыбкой поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху, учительским тоном выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединяла побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой, в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл.

II

Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери. Еще не утоленный голод заслонял впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была маленькая железная печка. Дрова... в те времена многие ходили на чердаки, – я тоже ходил, гуляя в косо́й полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпуская запоздавшего посетителя. За стеной комнаты жила прачка; я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивала, часто глубокой ночью – как сошедшие с ума часы – швейная машина. Голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюдца, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель, – довольно этих напоминаний. Дух быта часто отворачивается от зеркала, усердно подставляемого ему безукоризненно грамотными людьми, сквернословящими по новой орфографии с таким же успехом, с каким проделывали они это по старой.

Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезаются свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок, – это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление.

Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца.

III

При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но, как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем, втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих как в банном пару лиц лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть не кто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов, в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза! Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцами в коробке булавку. К утру скончалось пять человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел.

Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. «Он смугл, – пишет Репин, – с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом». Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни, – она происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, – я обыкновенно сидел в стороне.

Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых, – путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруят деревянные балки из разрушенных зданий. Но все – и многое, и гораздо более этого – уже описано разорванными свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня – то, что произошло со мной.

IV

К концу третьей недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно, я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча повела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу Мойки и развлекаясь зрелищем рыбной ловли – мужик с сеткой на длинном шесте степенно обходил гранит, иногда опуская свой снаряд в воду и вытаскивая горсть мелкой рыбешки, – я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке; человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным. Я не сразу узнал его: ни фартука, ни ситцевой рубахи турецкого рисунка, ни бороды и усов; одет был лавочник в строгие изделия военной складки, начисто выбрит и напоминал собой англичанина, однако с ярославским оттенком. Хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет, поэтому предложил пустующие палаты Центрального Банка, где двести шестьдесят комнат стоят как вода в пруде, тихи и пусты.

– Ватикан, – сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру. – Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?

– Эх! – только и сказал экс-лавочник, – дом этот недалеко; идите и посмотрите.

Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов, огляделся и, так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью; в нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа: потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх, тогда обе половинки разошлись, так как не было шпингалетов.

– Ключ есть, – сказал лавочник, – только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите, а запереть можно как изнутри, так и снаружи, стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти – сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко (действительно на высоте лица в стене около двери чернел вас-ис-дас с разбитым стеклом). Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться; знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три; как только разыщу угол – оповещу вас немедленно. Вследствие этого – извините за щекотливость, есть-пить каждому надо – соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств.

Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел, а я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас, – воспоминаниями звуков жизни, – уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить.

Я проходил из дверей в двери высоких больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел уже впереди и по сторонам другие, ведущие в тусклый свет далее с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было уже ступать по ее зыбкому хламу, достигающему высоты колен.

Бумага во всех видах, всех назначений и цветов распространяла здесь вездесущее смешение свое воистину стихийным размахом. Она осыпями взмывалась у стен, висела на подоконниках, с паркета в паркет переходили ее белые разливы, струясь из распахнутых шкафов, наполняя углы, местами образуя барьеры и взрыхленные поля. Блокноты, бланки, гроссбухи,

ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст – содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами, – взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей, – так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли; окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверями, казались путями ходьбы многих дней, – чувство, обратное тому, с каким мы произносим: «Малая улица» или «Малая площадь». Едва начав обход, уже сравнил я это место с лабиринтом. Все было однообразно – вороха хлама, пустота там и здесь, означенная окнами или дверью, и ожидание многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог, двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупения охваченное ими пространство, и недоставало только собственного лица, выглядывающего из двери как в раме.

Не более двадцати помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться: пласт извести на полу; там – сломанное бюро; вырванная и приставленная к стене дверная доска; подоконник, заваленный лиловыми чернильницами: проволочная корзина; кипы отслужившего клякс-папира; камин; кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться: оглядываясь, с удивлением замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был, устанавливая ошибку только рядом других предметов. Иногда попадался стальной денежный шкаф с отвернутой тяжелой дверцей, как у пустой печи; телефонный аппарат, казавшийся среди опустошения почтовым ящиком или грибом на березе, переносная лестница; я нашел даже черную болванку для шляп, неизвестно как и когда включившую себя в инвентарь.

Уже сумерки коснулись глубины зал с белеющей по их далям бумагой, смежности и коридоры слились с мглой и мутный свет ромбами перекошил паркет в дверях, но прилегающие к окнам стены сияли еще кое-где напряженным блеском заката. Память о том, что, проходя, я оставлял позади, свертывалась, как молоко, едва новые входы вставали перед глазами, и я, в основе, только помнил и знал, что иду сквозь строй стен по мусору и бумаге. В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучи скользких под ногой папок; шум, как в кустах. Шагая, оглядываясь я с трепетом, – так вязок, неотделен от меня был в тишине этой самонаименьший звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих метел, прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение. Вначале я шагал по нервному веществу банка, топча черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от Аляски до Ниагары. Я не искал сравнений: они, вызванные незабываемым зрелищем, появлялись и исчезали, как цепь дымных фигур. Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов, или же – что было всего отчетливее и мрачнее – брожу в прошлых столетиях, обернувшихся нынешним днем. Я прошел внутренний коридор, такой извиристо длинный, что по нему можно было бы кататься на велосипеде. В его конце была лестница, я поднялся в следующий этаж и спустился по другой лестнице, миновав средней величины залу с полом, уставленным арматурой. Здесь виднелись стеклянные матовые шары, абажуры тюльпанами и колоколами, змеевидные бронзовые люстры, свертки проводов, кучи фаянса и меди.

Следующий запутанный переход вывел меня к архиву, где в темной тесноте полок, параллельно пересекавших пространство, соединяя пол с потолком, проход был немислим. Месиво копировальных книг вздымалось выше груди; даже осмотреться я не мог с должным вниманием – так густо смешалось все.

Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехуголь-

ником; едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо, – так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной в игральную карту. Могла здесь танцевать тысяча человек. Посредине стоял фонтан, и его маски, с насмешливо или трагически раскрытыми ртами, казались кучей голов. Примыкая к колоннам, ареной разворачивался барьер сплошной прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величины зала. С некоторым трудом взгляд набирал предметы равного всему остальному безжизненного опустошения. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями, – передо мной разворачивался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Ее колорит естественно переводил впечатление к внушению, подобно музыкальному внушению оригинального мотива. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Веяние неслышанной дерзости тянулось из дверей в двери – стихийного, неодолимого сокрушения, повернувшегося так же легко, как плющится под ногой яичная скорлупа. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь собой все формы и звоном в ушах следует неотступно, – мысль, напоминающая девиз:

«Сделано – и молчит».

V

Наконец, я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. В одной из кухонь я утолил жажду, повернув кран. К моему удивлению, вода, хотя слабо, но заструилась, и этот незначительный живой знак по-своему ободрил меня. Затем я стал выбирать комнату. Это заняло еще несколько минут, пока я не наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. Мебель почти отсутствовала; единственное, на что можно было лечь или сесть, это – скальпированный диван без ножек; обрывки срезанной кожи, пружины и волос торчали со всех сторон. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф: он был заперт. Я выкурил папиросу – другую, пока не привел себя к относительному равновесию, и занялся устройством ночлега.

Давно уже я не знал счастья усталости – глубокого и спокойного сна. Пока светил день, я думал о наступлении ночи с осторожностью человека, несущего полный воды сосуд, стараясь не раздражаться, почти уверенный, что на этот раз изнурение победит тягостную бодрость сознания. Но, едва наступал вечер, страх не уснуть овладевал мной с силой навязчивой мысли, и я томился, призывая наступление ночи, чтобы узнать, засну ли я наконец. Однако чем ближе к полуночи, тем явственнее убеждали меня чувства в их неестественной обостренности; тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало мою нервную силу в гулкую при малейшем впечатлении тугую струну, и я как бы просыпался от дня к ночи, с ее долгим путем внутри беспокойного сердца. Усталость рассеивалась, в глазах кололо, как от сухого песка; начало любой мысли немедленно развивалось во всей сложности ее отражений, и предстоящие долгие бездеятельные часы, полные воспоминаний, уже возмущали бессильно, как обязательная и бесплодная работа, которой не избежать. Как только мог, я призывал сон. К утру, с телом как бы налитым горячей водой, я всасывал обманчивое присутствие сна искусственной зевотой, но, лишь закрывал глаза, испытывал то же, что испытываем мы, закрывая без нужды глаза днем, – бессмысленность этого положения. Я испытал все средства: рассмотрение точек стены, счет, неподвижность, повторение одной фразы, – и безуспешно.

У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Хотя тускло, но я озарил им холодную высоту помещения, после чего, заложив ямы дивана бумагой, изголовье нагромоздил из книг. Пальто служило мне одеялом. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. К тому же по летнему времени было здесь не довольно тепло. Во всяком случае, я придумал занятие и был рад. Вскоре пачки счетов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой блестящей лужей.

Но бесплодно тайно горел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей, сходим мы к внутреннему теплу и свету души. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая, в кровать. Кроме того, я хотел есть и, чтобы заглушить голод, часто курил.

Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? Печальный опыт с отгоревшими электрическими лампочками, которых я нашел кучу в одном из таких же шкафов, заставил подозревать, что шкаф заперт без всякого намерения, лишь потому, что хозяйственно повернулся ключ. И, тем не менее, я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий

всегда думать по трафарету, свойственному только ему, – так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. Для развлечения я прошел несколько ближайших от меня комнат, но, шаря там при свете огарка, не нашел даже обломка сухаря и вернулся, все более привлекаемый шкафом. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в этом шкафу каравай хлеба, а может быть, чайник, чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте; довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь, а на съестное, что ни говори буква закона, – теперь – теперь я имел право.

Светя огарком, я не торопился, однако, подвергать критике это рассуждение, чтобы не лишиться случайно моральной точки опоры. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину, против замка и, нажав, потянул прочь. Защелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся – и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением, я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой.

VI

Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенно, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я увидел склад ценной провизии – шесть полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, – отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр.

Прежде всего я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз; я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом.

Я начал осмотр сверху. Верх, то есть пятая и шестая полки, заняты были четырьмя большими корзинами, откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь, – не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если там было несколько штук, ушли, должно быть, задами шкафа в щели стены – шкаф стоял тихо.

Естественно, я удивлялся этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши (*Murinae*) и крысы (*Mus decum apus*) должны были чувствовать себя дома. Но мой восторг опередил всякие размышления; они едва просачивались, как в плотине вода, сквозь этот апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, изменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокровищ, тем более, что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкуче разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров – от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой; ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирало горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл восемь голов сахара, ящик с чаем; дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе; корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов.

Следовало если не торопиться, то, во всяком случае, начать есть, так как, понятно, сокровище, имея свежий вид обдуманного запаса, не могло быть брошено кем-то ради желания доставить случайному посетителю этих мест удовольствие огромной находки. Днем ли или ночью, но мог явиться человек с криком и поднятыми руками, если только не чем-нибудь худшим, вроде ножа. Все говорило за темную остроту случая. Многого следовало опасаться мне в этих пространствах, так как я подошел к неизвестному. Между тем голод заговорил на своем языке, и я, прикрыв шкаф, уселся на остатках дивана, окружив себя кусками, положенными вместо тарелок на большие листы бумаги. Я ел самое существенное, то есть, сухари, ветчину, яйца и сыр, заедая это печеньем и запивая портвейном, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться с ознобом и нервным тяжелым смехом, но, когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как пятнадцать минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями и мыслями. Сытость наступила скоро, гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть, вследствие волнения, утомительного даже для аппетита. Однако я был слишком истощен, чтобы перейти к резиньяции, и насыщение усладило меня вполне, без той сонливой мозговой одури, которая сопутствует ежедневному

поглощению обильных блюд. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер хорош.

Между тем, как я ни напрягался в догадках, они, естественно, царапали, подобно тупому ножу, лишь поверхность события, оставляя его суть скрытой непосвященному взору. Расхаживая в спящих громадах банка, я, быть может, довольно верно понял, чем связан мой лавочник с этим писчебумажным Клондайком: отсюда можно было вывезти и унести сотни возов обертки, столь ценимой торговцами в целях обвеса; кроме того, электрические шнуры, мелкая арматура составили бы не одну пачку ассигнаций; не без причины были вырваны здесь шнуры и штепселя почти всюду, где я осматривал стены. Поэтому я не делал лавочника собственником тайной провизии; он, вероятно, пользовался ею в другом месте. Но дальше этого я не ступил шага, все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Что ее некоторое время никто не трогал, доказывали следы крыс; их зубы оставили на окороках и сырах обширные ямы.

Насытаясь, я принялся тщательно исследовать шкаф, заметив много такого, что я пропустил в минуты открытия. Среди корзин лежали пачки ножей, вилок и салфеток; за головами сахара прятался серебряный самовар; в одном ящике сталкивалось, звеня, множество бокалов, рюмок и узорных стаканов. По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гульбывые или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домовых комитетов. В таком случае я должен был держаться настороже. Как мог, я тщательно прибрал шкаф, рассчитывая, что незначительное количество уничтоженного мною на ужин едва ли будет замечено. Однако (не счел я виноватым себя в этом) я взял кое-что вместе с еще одной бутылкой вина, завернул плотным пакетом и спрятал под грудой бумаг в извилине коридора.

Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую душистую папиросу из волокнистого табака с длинным мундштуком, – единственная находка, которой я вполне отдал честь, набив дивными папиросами все карманы. Я был в состоянии упоительной, музыкальной тревоги, с мнением о себе, как о человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой, – мог ли я забыть это движение? Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесплезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием. Но я не знал, где она, я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрикну она забытым мной номером, не могло помочь здесь при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза: они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Желание совершить глупость не отпускало меня и, как всякий ночной вздор, украсилось эфемеридами бессонной фантазии. Я внушил себе, что должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Кроме того, эти загадочные стенные грибы с каучуковым ртом и металлическим ухом я издавна рассматривал, как предметы, разъясненные не вполне, – род суеверия, навеянного, между многим другим, «Атмосферой» Фламариона, с его рассказом о молнии. Я очень советую всем перечитать эту книгу и задуматься еще раз над странностями электрической грозы; особенно над действиями шаровидной молнии, вешающей, например, на вбитый ею же в стену нож сковородку или башмак, или перелицовывающей черепичную крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке

с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнией, фотографиях обстановки, в которой произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагерротипам. «Килоуатты» и «амперы» мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы, заволокнутой сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. Итак, я объясняю это теперь, тогда же был лишь подобен железу перед магнитом.

Я снял трубку. Более чем была на самом деле холодной показалась она мне, немая, перед равнодушной стеной. Я поднес ее к уху не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и надавил кнопку. Был ли то звон в голове или звуковое воспоминание, но, вздрогнув, я услышал жужжание мухи, ту, подобную гудению насекомого, вибрацию проводов, какая при этих условиях являлась тем самым абсурдом, к которому я стремился.

Разборчивое усилие понять, как червь точит даже мрамор скульптуры, лишая силы все впечатления с скрытым источником. Старания понять непонятное не было в числе моих добродетелей. Но я проверил себя. Отняв трубку, я воспроизвел этот характерный шум в воображении, получив его вторично лишь когда снова стал слушать по трубке. Шум не скакал, не обрывался, не ослабевал, не усиливался; в трубке, как должно, гудело невидимое пространство, ожидая контакта. Мной овладели смутные представления, странные, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, порванных шквалом и дающих соединение в неуследимых точках своего хаоса; снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам; магнетические вспышки трамвайных линий; ткань и сердце материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли-видения не превышали длительностью толчка сердца, вставшего на дыбы; оно билось, выстукивая на непередаваемом языке ощущения ночных сил.

Тогда из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ той девушки. Мог ли я думать, что впечатление окажется таким живучим и стойким? Сто сил человеческих пряло и гудело во мне, когда, воззрясь на стертый номер аппарата, я вел память сквозь вьюгу цифр, тщетно пытаюсь установить, какое соединение их напомнит утерянное число. Лукавая, неверная память! Она клянется не забыть ни чисел, ни дней, ни подробностей, ни дорогого лица и взглядом невинности отвечает сомнению. Но наступил срок, и легковёрный видит, что заключил сделку с бесстыдной обезьяной, отдающей за горсть орехов бриллиантовый перстень. Неполны, смутны черты вспоминаемого лица, из числа выпадает цифра; обстоятельства смешиваются, и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминанием. Но, если бы мы помнили, если бы могли вспомнить все, – какой рассудок выдержит безнаказанно целую жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств?

Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность. Наконец мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера: 107-21. – «Сто семь двадцать один», – проговорил я, прислушиваясь, но не знал точно, не ошибаюсь ли вновь. Внезапное сомнение ослепило меня, когда я нажимал кнопку вторично, но уже было поздно – жужжание полилось гулом, что-то звякнув, изменилось в телефонной дали, и прямо в кожу щеки усталый женский контральто сухо сказал: «Станция». «Станция!..» – нетерпеливо повторил он, но и тогда я заговорил не сразу, – так холодно сжалось горло, – потому что в глубине сердца я все еще только играл.

Как бы то ни было, раз я заклил и вызвал духов, – отнести их к «Атмосфере» или к «Килоуаттам» общества 86 года, – я говорил, и мне отвечали. Колеса испорченных часов начали поворачивать шестерню. Над моим ухом двинулись стальные лучи стрел. Кто бы ни толкнул маятник, механизм начал мерно отстукивать. «Сто семь двадцать один», – сказал я глухо, смотря на догорающую среди хлама свечу. – «На группу А», – раздался недовольный ответ, и гул прихлопнуло далеким движением усталой руки.

Мне было умственно-жарко в эти минуты. Я нажимал именно кнопку с литерой А; следовательно, не только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность тем, что были спутаны провода, – подробность замечательная для нетерпеливой души. Стремясь соединить А, я нажал Б. Тогда в вон пущенного гулять тока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы, – неведомые ораторы, бьющиеся в моей руке, сжимающей резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу. Смешанные фразы напоминали концерт грачей – «А-ла-ла-ла-ла!» – вопило неведомое существо на фоне баритона чьей-то рассудительно-медлительной речи, разделенной паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией. – «Я не могу дать»... – «Если увидите»... – «Когда-нибудь»... – «Я говорю, что»... – «Вы слушаете»...

– «Размером тридцать и пять»... – «Отбой»... – «Автомобиль выслан»... – «Ничего не понимаю»... – «Повесьте трубку»... В этот рыночный транс слабо, как пение комара, ползли стоны, далекий плач, хохот, рыдания, скрипичные такты, перебор неторопливых шагов, шорох и шепот. Где, на каких улицах звучали эти слова забот, окриков, внушений и жалоб? Наконец, звякнуло деловое движение, голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав: «Группа Б».

– «А»! Дайте «А», – сказал я, – перепутаны провода. После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил певуче и тише: «Группа А». – «Сто семь двадцать один», – отчеканил я, как можно разборчивее.

– Сто восемь ноль один, – внимательным тоном безучастно повторила телефонистка, и я едва удержал готовую отлететь губительную поправку, – эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер, – едва услышав, я признал, вспомнил его, как припоминаем мы встречное лицо.

– Да, да, – сказал я в чрезвычайном волнении, бегущем по высоте, по краю головокружительного обрыва. – Да, именно так, – сто восемь ноль один.

Тут все замерло во мне и вокруг. Звук передачи стеснил сердце подступом холодной волны; я даже не слышал обычного «звоню» или «соединила», – я не помню, что было сказано. Я слушал птиц, льющих неотразимые трели. Изнемогая, я прислонился к стене. Тогда, после паузы, равной ожесточению, свежий, как свежий воздух, рассудительный голосок осторожно сказал:

– Это я пробую. Говорю в недействующий телефон, потому что ты слышал, как прозвонело? Кто у телефона? – сказала она, видимо, не ожидая ответа, на всякий случай, тоном легкомысленной строгости.

Почти крича, я сказал:

– Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги. Вспомните, прошу вас. Я не знаю имени, – подтвердите, что это вы.

– Чудеса, – ответил, кашлянув, голос в раздумьи. – Постоите, не вешайте трубку. Я сообщаю. Старик, видел ли ты что-нибудь подобное?

Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты.

– Я встречу припоминаю, – снова обратилась она к моему уху. – Но я не помню, о какой булавке вы говорите. Ах, да! Я не знала, что у вас такая крепкая память. Но странно мне говорить с вами – наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?

– Хорошо ли вы слышите? – ответил я, уклоняясь назвать место, где находился, как будто не понял вопроса, и, получив утверждение, продолжал: – Я не знаю, долог ли будет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей. Поэтому сообщите, не откладывая, ваш адрес, я не знаю его.

Некоторое время ток ровно жужжал, как будто мои последние слова нарушили передачу. Снова глухой стеной легла даль, – отвратительное чувство досады и стыдливой тоски едва не смутило меня пуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных, простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы. Это самое, может быть, обдумывала и она, пока длилось молчание, после чего я услышал:

– Зачем? Ну, хорошо. Итак, запишите, – не без лукавства сказала она это «запишите», – запишите мой адрес: 5-я линия, 97, кв. 11. Только зачем, зачем понадобился вам мой адрес? Я, откровенно скажу, не понимаю. Вечером я бываю дома...

Голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Я слышал, что она говорит, по-видимому, что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя, – наконец едва слышное толкание тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла, аппарат тупо молчал. Передо мной были стена, ящик и трубка. По стеклу выстукивал ночной дождь. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Резонатор умер. Очарование отошло.

Но я слышал, я говорил, что было, того не могло не быть. Впечатления этих минут сошли и ушли вихрем, его отзвуками я был еще полон и сел, сразу устав, как от восхождения по крутой лестнице. Между тем я был еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов.

VII

Еще очень далеко от меня – не в самом ли начале проделанного мною пути? – а может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука, слышались неведомые шаги. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко, знакомой дорогой среди тьмы и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако, мысленно я видел его спешащим осторожно, во тьме; он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился ожиданием до боли в висках, я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был бы спокоен, во всяком случае, начал бы успокаиваться, если бы шаги удалялись, но я слышал их все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого пытающего слух томительного, долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания; я встал, сел снова, не зная, что делать. Мой пульс точно следовал отчетливости или перерыву шагов, но, осилив наконец мрачную тупость тела, сердце пошло стучать полным ударом, так что я чувствовал свое состояние в каждом его толчке. Мои намерения смешались; я колебался, потушить свечу или оставить ее гореть, причем не разумные мотивы, а вообще возможность произвести какое-либо действие казалась мне удачно придуманным средством избежать опасной встречи. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Одно время я выходил за дверь, стараясь ступать неслышно, с целью посмотреть, в какой из прилегающих комнат могу спрятаться, как будто та комната, где я сидел, заслоняя спиной огарок, была уже намечена к посещению и кто-то знал, что я нахожусь в ней. Я оставил это, сообразив, что, делая переходы, поступлю, как игрок в рулетку, который, переменяв номер, видит с досадой, что проиграл только потому, что изменил покинутой цифре. Благоразумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил и стал ожидать во тьме.

Между тем не было уже никакого сомнения, что расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее, как за пять или шесть стен от меня, перебегая от дверей к двери с спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему как автомобиль моменту взаимного взгляда – глаза в глаза, и я молил бога, чтобы то не были зрачки с бешеной полосой белка над их внутренним блеском. Я уже не ожидал, я знал, что увижу его; инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумеречного фантома, и, страшнее всего, ужаснее падения с высоты, ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется и что это отсутствие кого бы то ни было заденет по лицу воздушным толчком. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась; скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли, остановились так близко от двери, и так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в грудях бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось: некто, согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить. Оторопь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками, – я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло, как днем. Я получил род нервного сотрясения, но, едва задержась, тотчас прошел вперед. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал: «Идите сюда». Затем прозвучал тихий, задорный смех.

При всем моем изумлении я не ожидал такого конца пытки, только что выдержанной мной в течение, может быть, часа. «Кто зовет?» – тихо спросил я, осторожно приближаясь к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неиз-

вестная женщина. Внимая ей, я представлял ее внешность, отвечающей удовольствию слуха, и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов: «Идите, идите сюда». Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения: «Идите, о, идите скорей!» – я осмотрел пять или шесть комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты, и только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома. Устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-нибудь действительно грозного среди безмолвно озаренных пустот, я наконец резко сказал:

– Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?

Прежде, чем мне ответили, эхо скомкало мое восклицание смутным и глухим гулом. Заботливая тревога слышалась в словах таинственной женщины, когда беспокойно окликнула она меня из неведомого угла: «Спешите, не останавливаясь; идите, идите, не возражая».казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые как плеск, и звонкие в своем полупшепоте, как если бы прозвучали над ухом, но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-то врасплох на ускользящее движение женщины, – везде встречал я лишь пустоту, двери и свет. Так продолжалось это, напоминая игру в прятки, и несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная, идти далее или остановиться, остановиться решительно, пока не увижу, с кем говорю так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня; все задушевнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной:

– Сюда, скорее ко мне!

Как ни был я чуток к оттенкам голосов вообще – и особенно в этих обстоятельствах величайшего напряжения, – я не уловил в зовах, в настойчивых подзываниях неслышно убегающей женщины ни издевательства, ни притворства; хотя вела она себя более, чем изумительно, у меня не было пока причин думать о зловещем или вообще дурном, так как я не знал вызвавших ее поведение обстоятельств. Скорее можно было подозревать настойчивое желание сообщить или показать что-то наспех, крайне дорожа временем. Если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу вкрадчивым и мягким «Сюда!». Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов, с глазами, устремленными по направлению голоса.

– Я здесь, – сказал, наконец, голос тоном конца истории. Это было на перекрестке коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше.

– Хорошо, но это последний раз, – предупредил я. Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет; я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека.

– Где же вы? – всматриваясь, заговорил я. – Остановитесь, вы так спешите. Идите сюда.

– Я не могу, – тихо ответил голос. – Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне.

Действительно я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книги, я поскользнулся, заша-

тался и, падая, опрокинул шаткую кипу гроссбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда, на невольный мой вскрик, вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. Если изумление страха в этот момент отстраняло догадку, то смех, веселый холодный смешок по ту сторону ловушки немедленно объяснил мою роль. Смех удалялся, затихая с жестокой интонацией, и я более не слышал его.

Я не вскочил, не отполз с шумом, лишним в предполагаемом падении моем; поняв штуку, я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, и я, с великой осторожностью, зажегши спичку, увидел четырехугольный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, я определил приблизительно высоту падения в двенадцать метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двойной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства, но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелететь через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода; ширина достигала шести аршин.

Выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издали свет позволял различать стены, и встал. Я не смел возвращаться к озаренным пространствам. Но я был теперь не в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал пятого акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдие. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина; из крана капала вода; здесь же висело полотенце с сырими следами только что вытертых рук. Полотенце еще шевелилось; здесь отошел некто, может быть, на расстоянии десяти шагов от меня, оставшись незамечен, как и я им, силой случайности. Не следовало более искушать эти места. Оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я наконец отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой. Хотя с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонившись к стене, в нишу заколоченной двери.

Никакой звук, никакое доступное чувствам явление не ускользнули бы от меня в эти минуты, так был я внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле, – такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда или же притаилось. Я начал изнемогать, тянуться с нетерпением отчаяния к какому бы то ни было шуму, но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием. Вдруг звуков появилось более чем достаточно в смысле успокоения – если назвать таким словом «покой в бурях», – множество шагов раздавалось за стеной, глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов; резко пильнула скрипка; виолончель, флейта и контрабас протянули вразброд несколько тактов, заглушаемых передвиганием мебели.

Среди ночи – я не знал, который теперь час – это проявление жизни в глубине трех этажей после уже испытанного мною над люком звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неумоимо, я отыскал бы выход из этого бесконечного дома, но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Оно было довольно велико, имея направление через противоположную стену вниз.

Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти, с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанной стеклом; оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница, из тех, что употребляются малярами при болезни потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Как ни было запылено стекло с обеих сторон, протерев его ладонью, сколько и как мог, я получил возможность смотреть, но все же как бы сквозь дым. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась: я смотрел в тот самый центральный зал банка, где был вечером, но не мог видеть его внизу, окошечко это выходило на хоры. Совсем близко нависал пространный лепной потолок; балюстрада, являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывала глубину зала, лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее, чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души, меж тем как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвижение стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда; кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации, – да, это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей – что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота с застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке.

Почти уверенный, что никто не придет сюда, в закоулок, имеющий отношение скорее к чердакам, чем к магистрали нижнего перехода, я осмелился удалить стекло. Его рама, удерживаемая двумя согнутыми гвоздями, слабо шаталась. Я отвернул гвозди и выставил заграждение. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо; пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кафешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл «под сурдинку», как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественное усилие и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные – жестокий визг; увесистый деловой хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к ищущей игривости с развратными интонациями камелий. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней; иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками иного оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики.

Настала пауза; несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загрели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами.

– Привет Избавителю! – ревом возгласил хор. – Смерть Крысолову!

– Смерть! – мрачно прозвенели женские голоса. Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не знаю почему, хотя я был устрaшенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади; но только глубоко вздохнул – никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться: за углом поворота явственно прошли, без подозрения о моем присутствии, двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда

этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившем теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание.

– Он умрет, – сказал неизвестный, – но не сразу. Вот адрес: пятая линия, девяносто семь, квартира одиннадцать. С ним его дочь. Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает Освободителю, Крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза!

VIII

Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз, – бежать, скрыться и лететь вестником на 5-ю линию. При всяком самом разумном сомнении цифры и название улицы не могли бы сообщить мне, есть ли в квартире этой еще другая семья, – довольно, что я думал о той и что она была там. В таком уstraшенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз; лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас; музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, которой проник сюда. С силой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение! Начинался рассвет с его первой мутью, указывающий пространство дверей; я мог мчаться до потери дыхания. Но инстинктивно я искал ходов не книзу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более, что за мной гнались, – я слышал торопливые переходы сзади и спереди, – этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещая ежесекундно обрушиться мне наперерез. Я ослабевал, оступел от страха и непрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой, я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара, – так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака, немедленно обрушив на люк все, что смутно белело по сторонам; это оказалось грудой оконных рам, двинуть которую с размаха могла лишь сила отчаяния. Они легли, застряв вдоль и поперек, непроходимой чашей своих переплетов. Сделав это, я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ям и труб, как в лесу. Наконец, я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая, смутная тень; из труб не шел дым, прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась; ее скрепы трескали, когда я начал спускаться; на высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец, ноги нащупали тротуар; я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным; поэтому, как только передохнул, пустился бегом.

IX

Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет семи, с личиком, побледневшим от слез; тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: «Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?»

Он, всхлипывая, молчал, смотря исподлобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности, я не мог бросить ребенка, тем более, что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Глядя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился; он мог только поникать головой и плакать. «Дружок, – сказал я, решаюсь постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка, – посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму». Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое; он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. «Эй ты! – закричал я, стремясь освободить руку. – Брось держать!» И я оттолкнул его. Не плача уже и также молча, уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. – «Кто ты?» – угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом, но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного, затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова, и, вновь задохнувшись, несся безумным шагом, резким, как бег.

Я уже был на Конногвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.

– Но ведь это вы! – сказала она. – Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!

Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва, – милее было бы мне прийти к ней, туда.

– Слушайте, – сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, – я спешу к вам. Еще не поздно...

Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.

– Сейчас рано, – значительно сказала она, – или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.

Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты, – нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и, сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.

– Нет, ты не обманешь меня, – сказал я, – она там. Она теперь спит, и я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.

Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Вдали, у противоположной стороны набережной, дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами отчаянным бранным криком, но, лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели воды, я был уже далеко от них, я бежал, пока не достиг ворот.

X

Тогда или, вернее, спустя некоторое время, наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто; ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойства жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость, я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее называл кто-то, вышедший отсюда, сказав: «Должна быть совершенная тишина». Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет; кровь хлынула к голове: раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик. «Хальт!» – крикнул кто-то за дверью. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался.

Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства заговорили. Внутреннее видение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь – разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской голоса спорили, впустить ли меня, – я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии.

Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку жёлудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий.

Он сказал:

– Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе, он иногда заносится пароходами. «Свободный ход», о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем; два последние дня ход этот, действительно, был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса: «Кладовая крысиного короля», книга, представляющая собой отменную редкость. Она издана в Германии четыреста лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене, как еретик. Ваш рассказ...

Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил:

– Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода эта опасность, так как я не совсем понимаю ее?

– Меры? – сказала Сузи. – О каких мерах вы говорите?

– Опасность... – начал старик, но остановился, взглянув на дочь. – Я не понимаю.

Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания.

– Я говорю, – начал я неуверенно, – что вам следует остеречься. Кажется, я уже говорил это, но, простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.

Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась с недоумением: «Как это может быть?»

– Он устал, Сузи, – сказал старик. – Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано; и были приняты меры. Если я назову эту крысу, – он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника, – словом «Освободитель». вы будете уже кое-что знать.

– Это шутка, – возразил я, – и шутка, конечно, отвечающая занятию Крысолова. – Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано:

«КРЫСОЛОВ» Истребление крыс и мышей.

О. Иенсен.

Телеф. 1-08-01.

Я видел ее у входа.

– Вы шутите, так как не думаю, чтобы этот «Освободитель» принес вам столько хлопот.

– Он не шутит, – сказала Сузи, – он знает. Я сравнил эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок, – взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебание, продолжать ли разговор так, как он начался.

– Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус. – Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете, с красным обрезом. – Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно.

...«Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза, и движения подобные человеческим и даже не уступающие человеку, – как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им.

Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей».

– Но довольно читать, – сказал Крысолов, – и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами.

Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют. Тем временем

мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. «Сузи, что с ним?» – раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно, я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос: «Он спит», – слова, с которыми я проснулся после тридцати несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что «для мужчины был очень легок». Меня пожалели; комната соседней квартиры оказалась на тот же, другой день, в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие...

И более – ни слова об этом.